



I

...Как-то раз — Мальке тогда уже умел плавать — мы лежали на траве возле площадки для игры в лапту. Мне бы следовало сходить к зубному врачу, но они меня не отпустили: заменить защитника — дело нелегкое. Зуб у меня гудел. Кошка по диагонали пересекала лужайку, и никто ничем в нее не бросал. Одни жевали травинки, другие обципывали метелочки со стебельков. Хоттен Зоннтаг протирал свою лапту шерстяным чулком. Мой зуб занимался бегом на месте. Матч длился уже два часа. Мы отчаянно продулись и надеяться могли только на реванш. Кошка была молоденькая, но уже не котенок. На стадионе гандболисты раз за разом забивали мяч в ворота. Мой зуб твердил свое. На гаревой дорожке бегуны на сто метров то ли отрабатывали старт, то ли просто нервничали. Кошка кружила по лужайке. В небе медленно тащился грохочущий трехмоторный самолет, однако заглушить мой зуб ему не удавалось. Черная кошка сторожа при площадке то тут, то там выставляла из травы свою белую манишку. Мальке спал. Крематорий между Объединенными кладбищами и Высшим техническим училищем работал при восточном ветре. Учитель Малленбрандт засвистел в свой свисток: аут. Кошка тренировалась. Мальке спал или казался спящим. Рядом с ним я мучился зубной болью. Кошка, тренируясь, подошла ближе. Она заметила кядык Мальке, потому что он был большой, непрерывно двигался и отбрасывал тень. Кошка сторожа распласталась

между мной и Мальке, готовясь к прыжку. Мы образовали треугольник. Мой зуб смолк и прекратил бег на месте, верно потому, что кадык Мальке стал для кошки мышью. Она была так молода, эта кошечка, а Малькова штука так подвижна — короче говоря, она вцепилась ему в горло, а возможно, кто-нибудь из нас схватил ее и бросил ему на шею, возможно даже, что это я со своей зубной болью или без оной нацелил кошку на его кадык. Йоахим Мальке закричал — впрочем, он отделался небольшими царапинами.

Но я, подсунувший твой кадык этой и всем другим кошкам, теперь обязан писать. Даже если бы мы с тобой оба оказались выдумкой — все равно обязан. Тот, кто в силу своей профессии выдумал нас, заставляет меня снова и снова брать в руки твое адамово яблоко и переносить его в те места, где оно побеждало или оказывалось побежденным. Итак, для начала пусть мышь снует вверх и вниз над отверстием, я же высоко над головой Мальке выпущу в задувающий рывками норд-ост стаю разьевшихся чаек, погоду назову летней и установившейся, предположу, что эти обломки некогда были тральщиком класса «Чайка», придам Балтийскому морю густой зеленый цвет бутылки из-под сельтерской, устрою так, что кожа Мальке — поскольку уже решено, что действие происходит в новом фарватере, юго-восточнее причального буя, — кожа, по которой еще ручейками стекает вода, покроется пупырышками, станет так называемой «гусиной кожей», но не страх, а обычный озноб после слишком долгого купания будет сотрясать Мальке и делать его кожу шершавой.

Все мы, худые и длиннорукие, широко раздвинув колени, сидели на корточках на капитанском мостике, и никто из нас не подстрекал Мальке еще раз нырнуть в носовой отсек затонувшего судна и там, в машинном отделении,

с помощью своей отвертки добыть винтик, колесико или еще какую-нибудь дребедень — латунную дощечку, например, густо исписанную на польском или английском языке указаниями, как пользоваться тем или иным механизмом. Мы ведь сидели на торчавших из воды палубных надстройках бывшего польского тральщика класса «Чайка», сошедшего со стапелей в Модлине и оснащенного в Гдыне, который год назад затонул юго-восточнее причального буя, следовательно вне фарватера, и потому ничуть не мешал движению судов.

С той поры чайчий помет всегда сох на ржавом железе. Чайки, жирные, гладкие, с глазами как нашитые бусинки, летали при любой погоде, то низко над обломками нактоуза, уже готовясь схватить добычу, то опять высоко и беспорядочно по какому-то им одним понятному плану, и в полете прыскали своим слизистым пометом, почему-то никогда не попадавшим в море, а всегда на ржавую надстройку мостика. Эти выделения затвердевали, обызвествлялись и комочками ложились друг подле друга, а не то скапливались в большие комья. Забравшись на тральщик, мы тотчас же начинали пальцами рук и ног сковыривать помет. Поэтому у нас и ломались ногти, а вовсе не оттого, что мы их грызли, вечно грыз ногти только Шиллинг, отчего пальцы у него всегда были в заусенцах. Длинные ногти, желтые от частого ныряния, были лишь у Мальке; он их берег, не грыз, не отдирали ими чайчий помет. Вдобавок он один из всех никогда не ел этих комочков, тогда как мы, раз уж они оказались под рукой, жевали их, словно осколки ракушек, и сплевывали за борт пенную слизь. Вкуса они никакого не имели, хотя, пожалуй, отдавали гипсом, рыбной мукой, — вернее, всем, что ни приходило на ум: счастьем, девочками, Господом Богом. Винтер, а он очень недурно пел, как-то раз заявил: «А вы знаете, что тенора каждый

день едят чайный помет?» Чайки, случалось, на лету ловили наши плевки, не замечая подвоха.

Когда Йоахиму Мальке вскоре после начала войны стукнуло четырнадцать, он не умел ни плавать, ни ездить на велосипеде, да и адамова яблока, позднее приманившего кошку, у него еще не было. От гимнастики и плавания он был освобожден, потому что считался болезненным и умело это подтверждал соответствующими справками. Еще до того как Мальке научился хорошо ездить на велосипеде и до упаду смешил всех своим напряженно-неподвижным лицом, торчащими красными ушами и растопыренными коленями, которые дергались то вверх, то вниз, он задумал учиться плавать и записался в секцию плавания, но был допущен только к упражнениям на суше вместе с восьми- и десятилетними ребятами. Ему еще и следующим летом пришлось довольствоваться тем же самым. Тренеру этого заведения в Брэзене, типичному пловцу с поджарым животом и тонкими безволосыми ногами, пришлось сначала муштровать Мальке на песке и лишь потом перейти к упражнениям на воде. Но когда мы день за днем стали делать большие заплывы и рассказывать всякие чудеса о затонувшем тральщике, это послужило для него могучим стимулом, и он за две недели стал пловцом что надо.

Сосредоточенно и упорно кружил он между сходнями, большим трамплином и купальней и уже приобрел некоторый навык, когда ему вздумалось поупражняться в нырянии неподалеку от волнореза. Сначала он доставал со дна обыкновенные балтийские ракушки, затем нырнул за пивной бутылкой, вытащил ее из воды и зашвырнул довольно далеко. Видно, Мальке теперь уже регулярно удавалось доставать бутылку со дна, потому что, когда он стал нырять

с нашей лодчонки, новичком его уже никак нельзя было назвать.

Он умолял нас взять его с собой. Мы, шесть или семь парней, собираясь в очередной заплыв, предусмотрительно плескались в мелководном квадрате семейной купальни, когда Мальке вдруг возник на сходнях мужской.

— Возьмите меня с собой. Вот увидите, я не отстану.

Отвертка болталась у него под горлом и отвлекала внимание от кадыка.

— Ладно, валий!

Мальке поплыл и опередил нас между первой и второй отмелью. Мы и не пытались его догнать.

— Пусть себе старается.

Когда он плыл на животе, отвертка — ее деревянная ручка была видна издалека — плясала у него между лопаток. Когда он переворачивался на спину, ручка подпрыгивала у него на груди, но ни разу целиком не закрыла злополучного хряща между подбородком и ключицей, который торчал над водой, как плавник, и оставлял за собой буруны.

Но тут уж Мальке нам показал. Он нырнул со своей отверткой несколько раз подряд и вытащил на поверхность все, что можно было отвинтить или отковырнуть за двух- или трехкратное ныряние: какую-то крышку, куски обшивки, деталь генератора; еще он нашел трос и, прицепив к нему крюк, выудил из носового отсека судна огнетушитель «Минимакс». Эта штука — кстати, немецкого производства — и сейчас годилась к употреблению. Мальке выпускал пену, демонстрировал, как тушат пеной, пеной тушил стеклянно-зеленое море — и с первого же дня гигантски возвысился над нами.

Хлопья пены все еще лежали островками и долгими полосами на плоской, ровно дышащей зыби; они привлекли нескольких чаек, нескольких чаек отогнали, потом

сбежались и понесли к берегу — неаппетитное створоженное месиво из прокисших сбитых сливок. Мальке, видно, решил закончить свой рабочий день, прикорнув в тени нактоуза, и тут — нет, уже много раньше, еще до того, как заблудившиеся хлопья пены устало прилегли на мостике, трепеща от каждого легчайшего дуновения, — кожа у него покрылась той самой зернистой россыпью.

Мальке дрожал мелкой дрожью, его кадык сновал вниз-вверх, и отвертка пускалась в пляс над сотрясавшейся ключицей. Спина его — плоскость со светлыми пятнами, а ниже плеч красная и точно ошпаренная, — на которой по обе стороны позвоночника, ребристого, как стиральная доска, от свежего загара шелушилась кожа, тоже покрывалась пупырышками и подергивалась в приступах набегавшего озноба. Синяя полоска обвела его побелевший рот, обнаживший стучащие зубы. Большими выщелоченными руками он пытался удержать свои колени, скребшиеся о заросшую ракушками переборку.

Хоттен Зоннтаг — или это был я? — растер Мальке полотенцем.

— Смотри как бы не слететь с катушек, нам еще обратно плыть.

Отвертка стала вести себя разумнее.

Чтобы с мола доплыть до лодчонки, так мы называли затонувший тральщик, нам требовалось двадцать пять минут, от купален — тридцать пять, на обратный путь ушло добрых три четверти часа. Мальке, пусть даже вконец выдохшийся, всегда минутой раньше нас стоял на гранитном молу. Преимуществом первого дня он не поступился и в дальнейшем. Случалось, мы еще только подплывали к лодчонке, а он уже успел побывать под водой, и, когда мы морщавыми, как у прачек, руками все приблизительно

в одно время цеплялись за ржавый, покрытый чаячьим пометом мостик, он уже молча показывал нам какой-нибудь шарнир или другую легко отвинчивающуюся шутовину, весь дрожа от озноба, хотя после второго, а может быть, третьего заплыва начал густо и расточительно смазывать тело кремом «Нивея» — карманных денег у Мальке было предостаточно.

Мальке был единственным сыном.

Мальке был сиротой.

Отца Мальке не было в живых.

Мальке зимой и летом ходил в высоких старомодных ботинках, надо думать унаследованных от отца.

На шнурок от высоких черных ботинок он и прицепил отвертку, которая болталась у него на шее.

Теперь мне вспоминается, что Мальке, кроме отвертки, еще что-то носил на шее, и на то у него были свои причины; но отвертка больше бросалась в глаза.

Наверно, уже давно, только мы не обратили на это внимания, наверняка и в тот день, когда Мальке стал учиться плавать посуху и усердно ползал по песку, у него на шее была серебряная цепочка, а на ней серебряная католическая подвеска — Богоматерь.

Никогда, даже на уроке гимнастики, Мальке не снимал этого украшения, а в наш гимнастический зал он заявился, едва начав заниматься в зимнем бассейне сухим плаванием, и с тех пор ни разу уже ни от какого домашнего врача справок не приносил. Серебряная подвеска иногда исчезала в вырезе спортивной рубашки, иногда же Пречистая болталась над ее красной нагрудной полосой.

Мальке не потел даже на параллельных брусьях. Он упражнялся и на коне, а на это отваживались еще только три или четыре парня из первой команды; оттолкнувшись от трамплина, согнутый в три погибели и тем не менее

весь — сила и упругость, со своей цепочкой и выскочившей из-под рубашки Богоматерью, он перелетал через коня и боком приземлялся на мате, поднимая облако пыли. Когда он делал на перекладине обороты завесом — впоследствии он в неудобнейшем положении делал на два оборота больше, чем Хоттен Зоннтаг, лучший наш гимнаст, — итак, когда Мальке выдавал тридцать семь оборотов завесом, амулет выбрасывало из-под рубашки, и серебряная Богоматерь тридцать семь раз — всегда впереди его русых волос — перекувыркивалась через скрипящую перекладину, но все же не слетала с шеи и не вырывалась на свободу, так как, кроме кадыка, тормозившего ее движение, еще и выпирающий затылок Мальке с отчетливой впадиной под волосами не давал соскользнуть цепочке.

Отвертка висела поверх Богоматери, шнурок, к которому она была прицеплена, местами прикрывал цепочку. Тем не менее этот инструмент не смог вытеснить амулет хотя бы уж потому, что ему с его деревянной рукояткой доступ в гимнастический зал был запрещен. Учитель гимнастики, некий Малленбрандт, знаменитость в кругу гимнастов, так как он написал основополагающую книгу о правилах игры в лапту, запретил Мальке во время уроков гимнастики носить на шее отвертку. Против амулета он не возражал, потому что, кроме гимнастики и географии, преподавал еще Закон Божий и вплоть до второго года войны умудрялся собирать в гимнастическом зале остатки католического рабочего общества гимнастов для упражнений на перекладине и на брусках.

Отвертке только и оставалось, что дожидаться в раздевалке поверх рубахи, покуда серебряная и довольно-таки стертая Богоматерь, болтаясь на шее Мальке, помогала ему не сломать таковую во время самых рискованных упражнений.

Обыкновенная отвертка — прочная и дешевая: Мальке часто приходилось нырять раз пять или шесть, чтобы вытащить на свет божий узкую дощечку, не больше тех, что с выгравированным на них именем жильца двумя шурупами крепятся на квартирной двери, в особенности если эта дощечка крепилась к металлу и винты на ней прожгавели. Зато иной раз ему удавалось, нырнув всего два раза, достать большие пластинки с пространными надписями; пользуясь своей отверткой как ломом, он выламывал их вместе с шурупами из прогнившей деревянной обшивки, чтобы на мостике похвастаться своей добычей. К коллекционированию таких табличек Мальке относился небрежно, щедро дарил их Винтеру и Юргену Купке, которые собирали все, что отвинчивалось, не брезгуя даже табличками с названиями улиц и вывесками общественных уборных, домой же уносил лишь то, что ему приглянулось.

Мальке не старался облегчить себе жизнь: пока мы клевали носом на лодчонке, он работал под водой. Мы отковыривали чаячий помет, загорали дочерна, из русских становились соломенно-желтыми. Мальке же только обзаводился новыми солнечными ожогами. Мы лениво следили за движением судов севернее причального буга, а у него взгляд всегда был устремлен вниз — красноватые, слегка воспаленные веки с жидкими ресницами и глаза, кажется голубые, становившиеся любопытными только под водой. Не раз Мальке возвращался без дощечек, без добычи да еще со сломанной или безнадежно согнутой отверткой. Показывая ее нам, он опять-таки производил впечатление. Жест, каким он швырял в море это орудие, сбивая с толку чаек, не выражал ни вялого разочарования, ни бессмысленной ярости. Никогда он не выбрасывал пришедший в негодность инструмент с наигранным или подлинным

безразличием. Его жест говорил: погодите, скоро я вам покажу что-нибудь похлеще.

...И вот однажды, когда в гавань вошло двухтрубное госпитальное судно, в котором мы после недолгих колебаний опознали «Кайзера», приписанного к Восточно-Прусской военно-морской флотилии, Мальке без отвертки отправился в носовой отсек тральщика, скрылся в отверстом зеленом люке, двумя пальцами зажал ноздри, всунул голову с гладкими от плавания и ныряния, посредине распадающимися на пробор волосами, затем подтянул туловище и зад, слева от себя выпустил воздух и, обеими ступнями оттолкнувшись от краев люка, наискось пошел вниз, в сумеречно-прохладный аквариум, озаряемый лишь слабым свечением воды за открытыми иллюминаторами: нервные колюшки, неподвижная стая миног, тихонько раскачивающиеся, но все еще прочно закрепленные матросские койки, заплесневелые, с мотающимися бородами водорослей, в которых кильки селили свою детвору. Редко-редко — отставшая от стаи навага. Об угрях разве что слухи. О камбале ни слуху ни духу.

Мы придерживали свои слегка дрожавшие колени, чаячий помет у нас на зубах превращался в мокроту, беспокоились, ощущали усталость и некоторую заинтересованность тоже, считали военные катера в составе эскадры, не сводили глаз с труб госпитального судна, все еще вертикально выпускавших дым, искоса друг на друга поглядывали — что-то долго он пропадает, чайки кружили в воздухе, волны с плеском набегали на нос тральщика и разбивались о держатели демонтированного носового орудия, журчание слышалось за мостиком, где вода между вытяжками устремлялась вспять и упорно лизала всё те же заклепки; известь под ногами, зуд пересохшей кожи, мерцание моря, стук мотора

по ветру, семнадцать тополей между Брёзеном и Глетткау; наконец он появился на поверхности, с иссиня-красным подбородком, с желтизной, разлившейся по скулам, головой с пробором посредине вытеснил воду из люка, шатаясь, по колено в воде, схватился за поручни, встал на колени, бессмысленно вытаращил глаза — нам пришлось втащить его на мостик. Вода еще текла у него из носа и из уголков рта, а он уже показывал нам отвертку из целого куска стали. Английский инструмент, еще покрытый слоем солидола. На нем было выгравировано: «Шеффилд». Ни ржавого пятнышка, ни зазубринки, капли воды на этой отвертке принимали шаровидную форму и скатывались вниз.

Эту тяжелую, я бы сказал, неистребимую отвертку Йоахим Мальке изо дня в день носил на шее больше года, даже когда мы уже не плавали на свою лодчонку или плавали лишь изредка. Он сделал из нее своего рода культ — хотя или как раз потому, что он был католик. Перед уроком гимнастики, например, отдавал ее учителю Малленбрандту на хранение — видно, боялся воров — и таскал ее с собой даже в церковь. А Мальке не только по воскресеньям, но и в будни, еще до начала занятий, ходил к ранней обедне в церковь на Военно-морской дороге, пониже кооперативного поселка Новая Шотландия.

Ему, с его английской отверткой, до церкви Девы Марии было недалеко: пройти по Остерцейле и спуститься вниз до Беренвег. Множество двухэтажных домишек, а также виллы с двускатными крышами, с колоннами и шпалерными плодовыми деревьями. За ними — два ряда домов, расцвеченных или не расцвеченных водяными затеками. Справа — трамвайная линия делала поворот, его повторяли провода, подвешенные под обычно хмурым небом, слева — худосочные песчаные огородики

железнодорожников, дачки и сарайчики для кроликов из черно-красной деревянной обшивки списанных товарных вагонов. За ними — сигнальные установки путей, ведущих в открытую гавань. Силосные башни, краны,двигающиеся или застывшие. И неожиданно красочные надстройки грузовых судов. Рядом — два серых линейных корабля со старомодными башнями, плавучий док, хлебо-завод «Германия»; и на небольшой высоте — несколько чуть покачивающихся привязных аэростатов, наевших серебристое брюхо. Зато по правую руку, перед бывшей школой имени Елены Ланге, ныне школой Гудрун, заслоняющей железный хаос верфей и основание большого крана с горизонтальной стрелой, — ухоженные спортплощадки, свежепокрашенные ворота, белые линии штрафных полей, прочерченные на коротко подстриженном газоне, — в воскресенье желто-голубые будут играть против «Шелльмюль-98», — никаких трибун, но вполне современный высокооконный и светлый гимнастический зал, ярко-красную крышу которого странным образом оседлал просмоленный деревянный крест. Дело в том, что церковь Девы Марии пришлось соорудить в бывшем гимнастическом зале спортивного общества «Новая Шотландия», так как церковь Сердца Христова находилась слишком далеко и обитатели Новой Шотландии, Шелльмюля и поселка между Остер- и Вестерцейле годами слали ходатайства в епископат в Оливе, покуда там наконец не решились купить гимнастический зал, перестроить и освятить его.

Хотя церковь Девы Марии продолжала неоспоримо походить на гимнастический зал, несмотря на множество красочных икон и декоративных украшений, добытых из подвалов и кладовых чуть ли не всех церквей епископата, а также из частных коллекций, — даже запах ладана и восковых свечей не всегда, а полностью никогда

не мог возобладать над застарелой вонью мела, кожи, пота гимнастов и гандболистов, и это сообщало ей нечто евангелически скарденное, фанатическую трезвость модельного дома.

В новоготической, построенной в девятнадцатом столетии из обожженного кирпича церкви Сердца Христова, в стороне от поселков и неподалеку от пригородного вокзала, Йоахим Мальке со своей отверткой выглядел бы нелепо и безобразно. У Пресвятой Девы Марии он спокойно и не таясь мог носить на шее свой высококачественный английский инструмент: эта церквушка, с тщательно вымытым линолеумом, покрывавшим пол, с квадратными матовыми светильниками под самым потолком, с хорошо пригнанными креплениями в полу, в свое время служившими опорой для турника, с железными, хотя и побеленными балками под обшитым досками бетонным потолком, к которым некогда были приделаны кольца, трапеции и с полдюжины шестов и канатов для лазания, несмотря на раскрашенные и позолоченные гипсовые статуи, пластично простертыми руками благословлявшие прихожан, была столь современна и холодно рационалистична, что стальная отвертка, которую молящийся или даже причащающийся гимназист счел необходимым нацепить на себя, не бросалась в глаза ни его преподобию Гузевскому, ни сонному служке, которым частенько бывал и я.

Ерунда! Уж от моего взора она бы не укрылась. Исполняя свои обязанности перед алтарем, даже во время обряда причастия по разным причинам старался не выпустить тебя из виду; но ты на это и внимания не обращал. Отвертка на шнурке висела у тебя под рубахой, на которой проступали довольно приметные жирные пятна, неясно повторявшие очертания этого инструмента. Мальке

преклонял колена у второй скамьи левого ряда, если смотреть от алтаря, и, широко раскрыв глаза — сдается мне, светло-серые, нередко воспаленные от ныряния и плаванья, — нацеливал свою молитву прямо на Богородицу в алтаре.

...И вот однажды, теперь уже точно не помню, в какое лето — то ли во время первых летних каникул на лодчонке, вскоре после заварухи во Франции, то ли в следующее, в день, подернутый знойной дымкой, с толкотней в семейной купальне, с поникшими вымпелами, распаренными телами и усиленным товарооборотом в киосках с прохладительными напитками, с обожженными подошвами на кокосовых половиках перед запертыми кабинками, полными хихиканья, среди расшалившихся детей с их возней, пачкотней — кто-то ногу порезал, — среди племени ныне уже двадцатитрехлетних, под ногами у озабоченно склонившихся взрослых трехлетний бутуз монотонно лупит по детскому жестяному барабану, превращая день в адскую кузницу. Тут уж мы не выдерживаем и плывем к нашей лодчонке; с пляжа в морской бинокль тренера — шесть все уменьшающихся голов, но одна — впереди, одна — первая у цели.

Мы бросились на овечье ветром и все же раскаленное железо, покрытое ржавчиной и чайным пометом, не в силах пошевелиться, тогда как Мальке уже два раза побывал внизу. Он вынырнул с добычей в левой руке; в матросском кубрике, где полусгнившие койки либо тихонько покачивались, либо все еще прочно держались на местах, в тучах всеми цветами радуги отливающих колюшек, в густых лесах водорослей, среди снующих миног он рыскал и шарил и наконец нашел в куче заросшего илом хлама вещевого мешок матроса Витольда Душинского или Лишинского,

а в нем бронзовую пластинку размером с ладонь, на одной стороне которой, под маленьким и гордым польским орлом, были выгравированы имя ее владельца и дата вручения, а на другой красовалось рельефное изображение усатого генерала. После того как мы протерли пластинку песком и размельченным чайным пометом, надпись на ней открыла нам, что Мальке вытащил на свет божий портрет маршала Пилсудского.

Две недели кряду Мальке лишь за такими штуками и охотился. Он нашел похожую на оловянную тарелку памятную медаль регаты 1934 года, состоявшейся на Гдыньском рейде, и там же, перед машинным отделением, в тесной и труднодоступной кают-компании, ту серебряную бляшку величиной с одномарковую монету, с серебряным же ушком для ленточки, с вытертой до гладкости задней стороной, с богато профилированной и украшенной передней: четкий рельеф Богоматери с Младенцем.

Это была, как явствовало из столь же рельефной надписи, прославленная Матка боска Ченстоховска. Мальке не стал чистить серебро, предпочел сохранить черноватую патину, когда на мостике рассмотрел, что он извлек со дна, и не взял чистого наносного песка, который мы ему предлагали для этой цели.

Но куда мы спорили, непременно желая, чтоб серебро заблестело, он уже опустился на колени в тени нактоуза и так долго вертел туда и сюда свою находку, пока она не оказалась под углом, наиболее соответствовавшим его благоговейно потупленному взору. Мы смеялись, когда он, позеленевший и дрожащий, осенил себя крестным знаменем, — кончики пальцев у него были выщелоченные, трясущиеся губы тщились двигаться, как то подобает в молитве, и за нактоузом послышалось латинское бормотание. Я и поныне думаю, что это были слова из его любимой

секвенции, той, что поется лишь раз в году — в пятницу перед вербным воскресеньем: «*Virgo virginum praeclara, / Mihi iam non sis amara...*»*

Позднее, когда наш директор Клозе запретил Мальке являться на занятия с этой польской штукой на шее — Клозе усиленно занимался политической деятельностью и преподавал лишь от случая к случаю, — Мальке пришлось довольствоваться прежним амулетом и стальной отверткой под кадыком, который для кошки сошел за мышь.

Черно-серебряную Богоматерь он повесил между бронзовым профилем Пилсудского и открыткой с портретом Бонте, героя битвы при Нарвике.

* «О дева, славнейшая из дев, не отринь меня...» (лат.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru